

Людмила
ПЕТРУШЕВСКАЯ

Сироты



НЕКОТОРЫМ видится его умершее лицо на улицах и в метро. Вглядываются, не веря себе, обходят совершенно чужого человека со стороны и облегченно уходят, заметив все-таки разницу, ибо никто не видел Эрика в гробу, некоторым он звонил совершенно недавно, кого-то поздравлял, говорил, что что-то читал, и смеялся и плакал, вернее, не плакал, а так. А звонок-то уже был почти оттуда, если не оттуда уже, где он сейчас лежит, полностью ушедший в землю. Он что-то читал и плакал в последние дни, видимо, в больнице, а когда его при этом телефонном разговоре пригласили

Смысл жизни



ОДИН врач начал лечить себя сам и долечился до того, что вместо одного мизинца на ноге у него потеряла чувствительность вся ступня, а дальше все поехало само собой, и спустя десять лет он очутился на возвышении в отдельной палате с двумя аппаратами, из которых один всегда ритмично постукивал, давая лежащему искусственное дыхание. Все продвигалось теперь без участия лежащего, потому что у него была полная неподвижность, даже говорить он не мог, ибо его легкие снабжались кислородом через шланги, минув рот. Представьте себе это положение и полное сознание этого врача-бедника, которому оставалось одному лежать целые годы и ничего не чувствовать. Целое бессмертие в его цветущем возрасте мужчины тридцати восьми лет, который внешне выглядел красноречивым эфрейтором с белыми выпученными глазами, да ему никто и не подносил зеркало, даже когда его брили. Впрочем, мимика у него не сохрани-

Мистика



ЭТО БЫЛА абсолютно спокойная женщина с большими деньгами, судя по рассказам посторонних, и обязательно что-нибудь всегда покупала, и приходила за своей девочкой, к частной учительнице английского языка, мерила то сапоги, то вытаскивала свертки из сумки. Девочку свою она постоянно таскала с ее пяти лет на частные уроки, и, по рассказам же очевидцев, набиралось два педагога по крайней мере, уже упомянутая англичанка плюс почему-то учительница рисования где-то у черта на рогах, в Черемушках, причем дело происходило зимой в самый гололед, а на английскую девочку она возила на Динамо, тоже не близкий конец, если учесть, где она жила со своей несчастной семьей. Такое складывалось впечатление, что они жили в крайнем богатстве, строили дачу вместо сгоревшей (за которую получили по страховке, в сущности, копейки, учитывалась стоимость дачи еще до войны), и обшили дачу внутри, вернее, Рита обшила, светлой фанерой, и в комнатах было, по словам Риты, как в посыльном ящике. Может быть, впереди были планы с обоями, что теперь знает, ибо несчастная Рита никому теперь ничего не рассказывает, а ее муж вообще частенько застывает в позе статуи Свободы, как бы тшась достать до потолка и с измученным лицом, и за это получил вторую группу по шизофрении, ибо и в больнице ничего не выдал, как партизан, ничего и никого, кому он там протягивал вверх руку.

Дама с собакой



ОНА УЖЕ умерла, и он уже умер, кончился их безобразный роман, и что интересно, он кончился задолго до их смерти. Задолго, лет за десять, они уже расстались, он жил где-то, а она приехала и поселилась в Доме творческих работников как напоказ, одна и с собакой. Поскольку у ней здесь жила старая память, о ее эскападах и скандалах, об их попойках на весь мир, о том, что она жена крупного деятеля искусств — но была. Однако вспоминали, что она еще и дочь крупного деятеля прежних времен: и, не в силах ничего поделать, выделили ей апартамент, и она въехала туда с собакой и жила тихо, громко разговаривая лишь с собакой. «Ты сошла с ума», — говорила она на балконе (соседние балконы слышали ее необычайно громкий голос, есть такие деятели с прирожденно громкими голосами, как бы вожди, полководцы и ораторы, но, как правило, просто скандалисты).

Соседние балконы раньше слышали оттуда сочные поцелуй приветствий, стук каблучков, громкие (тоже) голоса гостей, подвиги стульев и звон стаканов, особенно раздражали всех сочные, ясные, далеко разносящиеся, по-актерски природно поставленные голоса, которыми она страшно скандалила. Говорят, утюги летали по комнате, но все осталось цело, руки и головы. В один прекрасный момент разнеслась весть, что они разошлись, это он бро-

вполне конкретно приходило, он удивленно замолчал, как будто бы подавился, захлебнулся, но опустил приглашение, ничего не ответил, кроме задумчивого «спасибо». Ничего не ответил, промолчал и ушел умирать. Вообще-то он с самого начала был блокадное ленинградское дитя и не жаловался на свое здоровье, жил и жил и иногда покрывался потом на работе в коридоре, согнувшись в три погибели. Поэтому сослуживцы и побегали и устроили его в больницу, где ему поправили язву желудка. А так они ни на что не жаловались, носились с какими-то планами, хотел стать ни много ни мало писателем и записать свою богатую жизнь сироты из детского дома. Но не получилось, его богатая бедствиями жизнь сироты осталась в виде устных рассказов в дырявом сознании сослуживцев, в особенности его поездка на родину, на место рождения, указанное в паспорте. Было такое место у него, некая деревня, куда он и отчалил как-то в безумном порыве, потратив на это отпуск и приславши из своей деревни родной жене странную телеграмму: «Нашел семью». Жена по-бабьи восприняла эти слова, то есть что у Эрика там другая семья, в скобках новая жена, и звонила с этим сообщением, нашла куда, Алла Георгиевна, начальнице Эрика по работе, как раз попала пальцем в небо, поскольку Эрик если и хотел какую-нибудь семью, то только Аллу Георгиевну, красавицу в очках, в жабо и с вечно засученными рукавами. Эрик затем вернулся, выпучив свои синие глазки, и сообщил, что он — Эдуард, что у него жива мать, тетки и пятеро сестер и братьев, не считая всей деревни родни. И как он шел там по лесам и полям и встретил женщину, которая его узнала, двоюродную

лась, его как бы ошпаренное лицо застыло в удивле, раз и навсегда он остановился, в ужасе раскрыв глаза, и бритье оказывалось целым делом для сестричек, дежурящих изолированно около него по суткам. Они на него и не глядели, шел большой эксперимент сохранения жизни при помощи искусственных железных стучающих каждую секунду легких — а уши у больного работали на полную мощность, он слышал все и думал бог весть что. По крайней мере можно было включить ему его собственный голос при помощи особого замыкания трубочки, но когда ему затыкали эту трубочку, он ужасно ругался матом, а затыкать трубочку можно было быстрее всего пальцем, и палец сам собой отскакивал при том потоке площадной ругани, который лился из неживого рта, сопровождаемый стуком и свистом дыхания. Иногда, раз в год, его приезжала навестить жена с дочерью из Ленинграда, и она чаще всего слушала его мертвую ругань и плакала. Жена привозила гостинчик, он его ел, жена брила мужа, рассказывала о родне и тех событиях, которые произошли за год, и, возможно, он требовал, чтобы добили, мало ли. Жена плакала и по обычному ритуалу спрашивала врачей при муже, когда он поправится, а врачей была целая команда: например, корейка Хван, у которой уже была предзащита кандидатской диссертации на материале соседней палаты, где лежало четверо ее больных энцефалитом, четыре женщины с плохим будущим, затем в команде был старичок профессор, который апал в отроческие годы и обязательно, осматривая каждую лежащую женщину, клал руку ей на лобок, а осматривал он также другую палату, где находилась другая четверка, теперь уже юных девушек сраженных полиомиелитом. Он их таким образом как бы ободрял, но они ведь ничего не чувствовали, бедняги, они только иногда плакали, одна за другой. Вдруг заплачет навзрыд, и нянечка уже тяжело подымается с табуретки и идет за судном, явочком и кувшином мыть, убирать и перестилать. Чистота была в этой больнице,

Несчастная Рита только по фактам была как бы несчастна, поскольку грабег и пожар дачи для некоторых много значит, и одна постройка новой дачи и купля фанеры обходится тяжело, не говоря уж о статуте Свободы на дому по разу в день, но, странно, Рита всегда была весела, на постройке дачи ходила свободно в купальном костюме при жаре и объясняла свой вид тем, что в детстве много занималась пластикой по системе Алексеевой в группе детей дома ученых. Соседи старались не обращать внимания на жалкий вид тонконогой и толстой Риты, которая всегда сутулилась, стараясь визуально убрать излишний вес. Соседи отводили глаза и говорили с ней как с человеком, ибо она живо всем интересовалась, что у кого на дачах происходит, то есть вела себя наравне с остальной стройной и подтянутой дачной молодежью, к тому же и прилично одетой, хоть не в городское, но все же. Рита не видела в себе недостатков — ни в фигуре, ни в лице, ни в профессии дешевого переводчика статей для рефератов, три копейки в базарный день. И откуда-то были деньги, вот в чем вопрос. Даже строители у нее трудолюбиво кропали, не отвлекались, деловитые и серьезные плотники, какие-то баснословно дорогие непьющие работники, шабашники периода капитализма в России, ни у кого таких не было, кругом стоял стон из-за пьянства и воровства рабочих за лютые деньги, а у Риты все было о'кей. Они строили, она ходила по соседям в трусах с голым пузом и в лифчике шестого размера и развлекала публику, к примеру, просто скроенными рассказами о своей невестке, жене брата, которого Рита воспитывала одна после смерти матери в свои отроческие годы, а ему было двенадцать. Так эти две сироты и жили, пока наконец брат не женился на красавице из города Хабаровска, юной,стройной, как хлыст, но к тому же неосознанной лесбиянке, ибо девушка тут же рассказала мужу, выйдя замуж, что в общении ее очень любила другая студентка, и так далее, что по описанию подымало волосы на голове и вызывало смех мужа, а также — затем — и смех Риты и ее мужа в промежуток между его протягиваниями руки помощи вверх, когда ему было не до смеха. Ничто не удерживалось в этой бедной семье, в среде сестры, брата и их юных мужа и жены, все вываливалось и запросто обсуждалось, даже мелкие неприятности в виде повышенной сексуальности

сил все к черту и ушел к какой-то бабе. И вот вам явление дамы с собакой, вернее, с собаками, ибо она неоднократно появлялась, неся какую-то низменную, грязную, явно не в своей тарелке находившуюся постороннюю и сконфуженную собаку, перевешенную у этой дамы через плечо в виде лисьего меха, трепанного и покрашенного мохью как бы. Дама выговаривала своему пуделю, что он не имел права днать эту несчастную, эту падаль, если ее хотят подкормить. Все имеют право жить, кричала (тихо выговаривала, как ей казалось) эта Брижит Бордо, нельзя никого гнать! Не гони, и не гоним будешь!

Она так шла, и от нее буквально шарахались живые люди, так разительно она сама напоминала трепаное, равное животное, какое-то гонимое и, несмотря ни на что, ни на какие обеды в столовой, голодное. Она несла на плече смущенную равня в виде дворянки с грязными по локоть ногами, а рядом бежал хвостящий, тоже глубоко смущенный пудель, и все вокруг отводило глаза, смотрели востро только дети. Детей, кстати, она ненавидела, со своим довольно взрослым ребенком жила тоже в скандалах, и, люди слышали, часто повторяла, что животные — единственные существа, которые ее не ругали никогда.

Внешний вид ее со временем развода сильно изменился, опала пышная когда-то грудь, руки увяли, как картофельные плети, волосы она раньше носила гордо и с прямой спиной, а теперь прятала под повязками, и единственное, что у нее осталось, — это любовь к побрякушкам, которые действительно качались на ней и брякали повсюду — в ушах, вокруг шеи, вокруг костлявых запястий. Собаки ее не ругали, бижутерия ее любила, и это все, что ей оставалось.

Только однажды она сорвалась, чего не было никогда, и показала свою новую сущность ханжи и старой девы: когда на балконе выше этажом собрался гости, застучали каблучками, заговорили громкими, сочными голосами, зазвучала посуда, полилось, забубило — она выждала до полноты, тайно негодуя, а затем сочно, трезво и раздельно сказала на своем балконе одну фразу, которую никто не разобрал и которую одни передавали как «мешаете спать моей собаке», а другие — «даже собаке надо отдыхать». Короче, что-то несообразное и нелепое по своей ханжеской сущности, но ясное по намерениям: пришло

сестру, и она, не признавшись, послала его прямо в родной дом. И как он плакал. И что они его искали как Эдуарда, а потом вообще, после того как ему исполнилось восемнадцать, искали его в армии или по тюрьмам, трезво рассудив, что куда русский парень-сирота пойдет в восемнадцать лет. А он вон он — выучился, вот тебе и раз, оказывается, в институте и далеко пошел, стал редактором и так далее, но не ушел далеко. Оказывается, он младенцем был отдан на житье богатому дядьке-директору, тот его переименовал и умер под медные трубы, а неродная мать опять-таки растила, но умерла от голода в блокаду, и наш Эрик в полной уверенности, что он сирота, оказался в детдоме. Эрик рассказывал об этом, блестя синими глазами, такой беленький-беленький в белой рубашке, и завершал всегда так: но чур, это моя тема. Он, оказывается, был привозим в Ленинград после войны на погледение, целый состав детдомовских привезли и поставили на запасный путь, трое суток объявляли по радио на весь город, что привезли детей, увезенных тогда-то и тогда-то, однако за теми не явился никто. Все родные, видимо, умерли, и ночью, при погашенных огнях, состав тронулся и повез всех сирот обратно в Вологду под плач колес. Но это — Эрика тема. Там, во мраке, он продолжает нам рассказывать свою небывалую историю удачливого сироты, и если бы не голод в детстве, то мало ли что могло произойти на этой почве. Но рок, судьба, неумолимое влияние целой государственной и мировой машины на слабое детское тело, распростертое теперь уже неизвестно в каком мраке, повернули все не так. Сирота, сирота.

опорном пункте института неврологии, чистота и порядок, а энцефалитные бродили как тени и заходили к живому трупу на порог, ужасаясь и отступая перед взглядом вытаращенных в одну точку глаз, эти же энцефалитные сживали в палате неподвижных девушек, где рассказывались анекдоты нежными голосками и лежали на подушках головы, в ангельском чине находящиеся, с нимбом волос по наволочкам. А то энцефалитные ходили и к малышам, в самую веселую палату, где бегали, кружась, дети с потерянными движениями рук, а за ними припрыгивали дети-инвалиды, волоча ножку. Туда же от своего мечтателя о собственном убийстве переходила большая команда врачей, там летали шуточки, там царил надежда на лучшее будущее, а бывший врач оставался один на своем высоком медицинском посту, на ложе, и его даже со временем перестали спрашивать о самочувствии, избегали затыкать трубочку, чтобы не слышать истинный мат. Может быть, кто-нибудь, подождав подольше, услышал бы и просьбы, и плач, а затем и мысли находящегося в чистом духовном мире существа, не ощущающего своего тела, боли, никаких тягостей, а просто вселенскую тоску, томление бессмертной как бы души не свободного исчезнувшего человека. Но никто на это не шел, да и мысли у него были одни и те же: дайте умереть, падлы, суки и так далее до свистящего крика, вырубите кто-нибудь аппарат, падлы, и так далее. Разумеется, все это было до первой большой аварии в электросети, но врачи на этот случай имели и автономное электропитание, ведь сам факт существования такого пациента был победой медицины над гибелью человека, да и не один он находился на искусственном дыхании, рядом были и другие больные, в том числе и умирающие дети. Раздавались голоса нянечек, что Евстифеева разбаловали, полежал бы в общей свалке, где аппарат на вес золота, то бы боролся за жизнь, за глоток воздуха, как все грешные. Вот вам и задача о смысле жизни, как говорится.

маленькой Лизы. Обсуждалось все и обещалось, лишнее тайны. Семья жила открыто, но откуда-то брались деньги, и зимой Рита таскала маленькую Лизу по урокам, терпеливо, в часы пик так в часы пик, как удобно педагогам, в темноте, по снегу, по гололеду, а Лиза плакала и кричала на всех прохожих, девочка с наследственностью, бедная, возбудимая крошка, глубоко, видимо, несчастная, как будто все беды ее родителей и родни валились ей на голову, и они жили, а она мучилась и вопила. В дальнейшем, все годы спустя, она толковала на дачных улочках в компании соседских детей, что ждет маму, мама придет, а все соседские дети знали, что мать Лизы не придет, никогда не придет к ней, и возражали, несмотря на запреты взрослых, но Лиза по всем улицам звонила на счет приезда матери упорно, кричала и плакала, когда ее дразнили: «Нет, моя мама придет!»

А Рита тем временем давно лежала в могиле, сплюснутая снегоуборочной машиной, которая во тьме прижала ее к стене дома, а Рита-то как раз посторонилась. Рита мчалась за девочкой к учительнице рисования. Машина проехала, а Рита все упорно стремилась к дочери, взобралась на этаж, позвонила и упала, но зато успела все сказать, успела за дочерью, потому что, видимо, ее вела мысль, что как же ребенок останется один. С этим она и прожила последние пять минут в сознании, увидела ребенка, попрощалась с полув в последний раз.

Теперь все они живут с бабушкой со стороны статуи Свободы, и мало этой бабушке мучений видеть больного сыночка и сироту-внучку, мало ей этого, она ведь и мужа потеряла три года назад, горькая вдова, и ее сыночек и тронулся с тех пор, с похорон отца, вернулся домой к Рите с протянутой вверх рукой, не выдержал горя.

В этом мире, однако, надо выдерживать все и жить, говорят соседи по даче, как это делала Рита до последней минуты, свято веря в свою долю счастья и в свою пластичность по Алексеевой. Тем не менее Риту действительно все помнят, все окружающие, и буквально не в силах забыть. Ходят слухи, что мать Риты была очень хорошим человеком, это она оставила ей деньги, и какая-то ее тень лежит поперек всей Ритиной горькой судьбы, какая-то защитная тень, тень великой любви. Чуть ли это не она ли, мать, позвала Риту чуть ли не отдохнуть, но это все, конечно, мистика.

время праздновать следующему поколению, к которому она уже никакого отношения не имела, как ни к чему вообще. Уже все знали, что у нее нет средств к существованию, муж ей оставил квартиру и все, работая она уже не могла, как не могла и вернуться в свое учреждение после психбольницы, куда она угодила ввывая из пелти. В этом учреждении ее и вообще уже терпели едва-едва с ее яркими одеждами, бижутерией, дикой косметикой, опозданиями и прогулами, с ее пышными обещаниями провратить то или иное дело с помощью влиятельных знакомых, а также со странной историей исчезновения чужих денег в ее комнате. Нашу даму никто не ловил на месте преступления, но слух пошел, ее начали опасаться всерьез, хотя виду не показывали, боясь совсем убить это глубоко раненное животное. Дальше — больше, она позвонила двум-трем женщинам, семейным и занятым, глубокой ночью, что сейчас повесится и дверь не закрыта, пусть приходят и вынимают. Женщины все как одна стали ее отговаривать, но когда она позвонила третьей, две первые сообразились и вызвали психиатров, которая приехала, распахнула дверь, и наша дама от страха прыгнула со стула с приготовленной пелти на шею и с телефонной трубкой в руке — прыгнула именно от неожиданности, увидев белые халаты. Так бы, может, она и не прыгнула, думали ее сослуживцы. Но санитар перехватил суицидницу, ловко поймал, позвонки не поврзались и ее хрупкой лебединой шее, и в штаны она не наложива, и язык не прикусил — никакого этого безобразия с ней не произошло.

Никто не знает, однако, как она умерла на самом деле, на какой койке угадана, кажется, от рака и в муках. Чем-то это все должно же было кончиться, эта безобразная жизнь, искалеченная неизвестно чем, но слишком шумная и бурная для наших условий. Однако, как говорится, ни одна собака ее не пожалеет, все только слегка вздохнула, внимая отдаленным слухам, а куда делась ее собственная старая собака, ее пудель, последний в роду, и выла ли собака над ее трупом, сидела ли над ее могилкой — все эти басни из рассказов о животных можно не принимать во внимание, никто такого не позволит в наши времена, ясно только одно: что собаке пришлось туго после смерти своей Дамы, своей единственной.